

Обозначу лейтмотив подхода к постсоветскому циклу разномыслия, которое в условиях новой России проходит через разные состояния. Спонтанность, а лучше сказать, самопроизвольность выражения мнений и настроений в ельцинское время заметно контрастирует с попытками президента Путина придать многим проявлениям социальной жизни, включая широко понимаемое волеизъявление народа, регламентный, «разрешительный» характер.

История, которую когда-то называли «пророчеством назад», призывает меня объяснить этот контраст. Сквозь призму прожитых лет я ощущаю хрущёвские, горбачёвские и ельцинские «оттеночные» времена как некие реальности, непосредственно пережитые мной вместе с социумом. Сопоставляя прожитое время с наступившим, не могу не чувствовать «холод» атмосферы путинской России. «Метеосводки» моих коллег по социологическому цеху равно как и собственные наблюдения за общественным климатом страны, указывают на «подмораживание демократии» (Т. Засланская) — рост авторитаризма и монополии на политическую, экономическую и информационную власть, резкое свертывание либеральных тенденций, усиление бюрократизма в государстве и обществу, нарушение конституционных свобод. Но как быть с тем, что люди продолжают высказывать разные точки зрения? Сказать, что в их головах по-прежнему «каша» и они нуждаются в единственно правильном и непобедимом учении, было бы уж слишком бесполезно и по-советски!

И последнее. Мои авторские намерения были самыми искренними, а помыслы высокими и чистыми. Я стремился доказать неоправданность появления разномыслия, невзирая на «вечную мерзлоту сталинского времени и массовый страх перед производом тоталитарной власти», взяв на себя смелость думать, что мой профессиональный долг и связанный с ним опыт прожитой жизни помогут представить убедительную картину этого явления. Четыре года я писал эту книгу. Теперь я мысленно опускаю один ее экземпляр в трюм виртуального корабля, носящего название моей книги, и отправляю его в свободное плавание «по морям, по волнам» памяти моего поколения и пришедших ему на смену современников...

Заранее благодарю каждого, кто возьмет книгу, перелистает ее страницы, а возможно, и примется за чтение. Будет ли оно расценено беглым или дотошным, ограничится ли читатель просмотром отдельных отрывков или у него достанет желания и сил добрататься до последних страниц — предвосхищать не берусь. Высшим проявлением благосклонного отношения читателя к автору считаю признание полезности прочитанной книги. В ожидании этого чувства завершаю свой труд.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

#### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО РАДИОВЕЩАНИЮ И ТЕЛЕВИДЕНИЮ<sup>1</sup> 7 и 8 января 1966 г.

Председательствовал — тов. Месяцев Н.Н.

Присутствовали:

Члены Комитета — т.т. Бирюков Н.С., Железова В.Ф., Иванов Г.А., Кузиков К.С., Муравьев В.П., Рапохин А.А., Саконтиков Н.И., Трегубов В.Д., Федотова В.И., Чаплыгин Н.П.

От отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС — тов. Московский П.В.

Председатель Ленинградского Комитета по радиовещанию и телевидению — тов. Филиппов А.П.

Директор Ленинградской студии телевидения — тов. Фирсов Б.М.

Приглашенные по соответствующим вопросам сотрудники Комитета и Ленинградской студии телевидения.

#### 1. [Слушали:]

О передаче Ленинградской студии телевидения «Литературный вторник», прошедшей по Центральному телевидению 4 января с.г. (т.т. Копылова, Филиппов, Трегубов, Кузиков, Бирюков, Рапохин, Федотова, Карцов (так!), Никитин, Иванов, Струженцов, Сирота, Муравьев, Ниренбург, Каракоз, Гладышев, Маринина, Меркулов, Саконтиков, Карцев (так!), Фирсов, Месяцев).

#### 1. [Постановили:]

Признать прошедшую 4 января с.г. по Центральному телевидению передачу Ленинградской студии телевидения «Литературный вторник» идейно порочной.

<sup>1</sup> ГАРФ, ф. Р 6903, оп. 1, д. 866, л. 1-4 (Протокол № 1 заседания Государственного комитета Совета Министров СССР. 7 и 8 января 1966 г.).

Принять к сведению приказ Председателя Ленинградского Комитета по радиовещанию и телевидению «О передаче Ленинградской студии телевидения "Литературный вторник"».

За плохую организацию контроля по подготовке и выходу передач на первую программу Центрального телевидения дирекции Ленинградской студии телевидения тов. Фирсова Б.М. от работников освободить.

За обеспечение должного руководства освободить от работы Главного редактора литературно-драматического вещания Ленинградской студии телевидения тов. Никитина Е.Н.

Поручить т.т. Месяцеву, Муравьеву, Кузакову, Карцову подготовить записку в ЦК КПСС. В записке раскрыть существо перечисленные идейно-порочных передач.

Поручить Ленинградской студии телевидения подготовить передачу, которая вскрыла бы ошибочность переданного «Литературного вторника» и дала бы правильное марксистско-ленинское толкование вопросов развития русского языка, культурного наследия и революционных традиций советского народа. Передачу показать по первой программе.

Поручить тов. Филиппову провести общее собрание коллектива Ленинградской студии телевидения, на котором обсудить передачу «Литературный вторник», и принять меры к усилению воспитательной работы в коллективе.

Поручить т.т. Месяцеву, Иванову, Кузакову, Муравьеву, Филиппову, Карцову с учетом состоявшегося на заседании Комитета обмена мнениями подготовить приказ.

П/п ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Н.Н. МЕСЯЦЕВ

### «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВТОРНИК»<sup>2</sup>

(стенограмма передачи Ленинградской студии телевидения, 4.01.1966 г.)

Участники передачи Ленинградской студии телевидения «Литературный вторник» 4 января 1966 года.<sup>3</sup>

член-корреспондент Академии наук СССР Лихачёв Д.С.;

писатель Солоухин В.А. (Москва);

<sup>2</sup> ГАРФ, ф. Р 6903, оп. 1, д. 866, л. 6-54 (Текст телепередачи «Литературный вторник», расшифровка фонограммы; в редакции И.А. Муравьевой 2007 г.).

<sup>3</sup> Там же. Л. 5 (Участники передачи).

писатель Успенский Л.В. (Ленинград);

языковед Ив́анов В.В. (Москва);

писатель Волков О.В. (Калинин);

литературный критик, зав. отделом журнала «Дружба народов» Бушин В.С. (Москва) — был приглашен по рекомендации «Литературной газеты»;

научный сотрудник Института русской литературы Академии наук СССР Емельянов Л.И. (Ленинград).

Вел передачу член Союза писателей СССР Вахтин Б.Б.

[Диктор ЦТ:] Передаем слово Ленинградской студии телевидения.

[Диктор ЛСТ:] Добрый вечер, дорогие товарищи. «Литературный вторник», подготовленный Ленинградской студией телевидения, ведет писатель Борис Вахтин.

Вахтин: Дорогие друзья! Сегодняшний наш «Литературный вторник» посвящен русскому языку, русской речи, русскому слову. Мы собрались здесь сегодня не случайно. Вы знаете, конечно, прекрасно, что несколько лет назад как бы внезапно, как бы неожиданно мы все обнаружили для себя заново нашу Родину. Началось это, пожалуй, с интереса к иконам, с интереса к старине. Мы открыли для себя замечательную живопись, замечательную архитектуру, превосходные памятники слова. И вот на фоне этого большого интереса, а этот интерес, между прочим, сначала носил характер скорее не столько восхищения, сколько возмущения: действительно, в одном месте ратуши на дрова церковь, в другом месте разобрали монастырь — ринный на кирпичи, там сожгли иконы, там не сберегли рукописи... Скорее это носило характер возмущения такого... Так вот, на фоне этого интереса к нашей национальной культуре, вслед за ним появилось особое чувство — много статей было напечатано на эту тему — такое стремление сберечь нашу природу, сберечь речь, сберечь леса, сберегать птиц, сберегать животных в наших лесах, помнить, что мы здесь хозяева, которые свою собственную землю должны беречь — иначе она разрушится, иначе она придет в запустение.

Тысячи молодых людей, энтузиастов устремились в самые разные места... сплось и рядом встречаешь где-нибудь в старинных русских городах молодых студентов, они не очень даже хорошо, может быть, знают старину, но тяга очень большая к этому. Между тем здесь не все благополучно даже в этой области, в области сбережения национальной культуры. <...> Я вспоминаю в Ярославле нынче осенью чудесную церковь Николы Мокрого... На ней возвели леса, чтобы ее реставрировать, а затем забросили эти леса. Леса

стали своего рода памятником архитектуры, они также разваливаются, как и церкви.

Никто, значит, не бережет, не следит за этим. Постепенно вот от такого интереса к материальной культуре мы переходим к тому, что, пожалуй, в культуре является важнейшим, т. е. к языку, к речи нашей. А здесь тоже далеко не все благополучно. Живая речь сейчас гораздо богаче, гораздо ярче, сложнее по составу, чем та речь, которая отражается в литературном произведении; литературная речь очень оторвалась от живой разговорной речи. Этот отрыв почти так же велик, как он был велик во времена Даля, создававшего свой словарь и очень сеговавшего на это положение.

**Успенский:** Во времена Даля и Тургенева.

**Вахтин:** И Тургенева. Да. Это проблема очень большая — это проблема отдельных слов. Вот за годы, прошедшие после Даля, и хочу привести здесь несколько примеров, как обесценилось даже употребление и понимание слов, зафиксированных в лексиконе. Казалось бы, самых распространенных. Вот слово «солнце», как его трактуют словари Ушакова, как он понимает его: «Солнце — центральное небесное светило нашей планетной системы, представляющее собою гигантский раскаленный шар, излучающий свет и тепло». Это так по Ушакову. А вот как понимал Даль это слово: «Солнце, солнышко, наше дневное светило, величайшее, самосветящееся срединное тело нашей вселенной, господствующее силой тяготения, светом и теплом над всеми земными мирами и планетами».

**Реплика:** Правильно.

**Вахтин:** Совершенно другое слово, совсем стало другим. Еще пример...

**Солоухин:** О солнце получилось, о нем.

**Вахтин:** Как стихотворение в прозе. Дальше. Вот еще пример. Самое простое слово. Все знают скворечник, что такое, да? Вот как понимает скворечник Ушаков: «Скворечник. Помещение для скворцов в виде небольшой будочки... укрепленной на длинном шесте или на дереве около дома». А вот как Даль понимал, что такое скворечник: «Скворечня, скворечница, кузовок, представляемый на шесте перед домом, у ворот, на дворе, над окном, для скворцов, которые занимают его по прилете первого весною под гнездо, потешая хозяев пеньем своим».

*<Пропуск в стенограмме.>*

Вот видите, это касается только отдельных слов. Мы не только не записываем слова живого языка, живое понимание речи, массу теряя тем самым, мы не записываем и соединения слов, как они соединяются, словосочетание, фразу, живую манеру говорить, не

обезличенную образованием и не обезличенную чтением газет... У нас переводческое искусство стоит крайне высоко, и, скажем, есть такая замечательная книга, как перевод Рабле, выполненный Любимовым. Но при этом у нас идет масса переводов западной литературы, которые выполнены на таком обесцененном, как бы среднелитературном языке. Там все соответствует норме, но там нет жизни. Это происходит и под влиянием газет, которые, конечно, страшно засоряют и портят живую речь, лишают ее красок и цвета; в известной степени и радио виновато тоже, которое слушают многие, хотя и меньше, конечно. И телевидение, нас приглашавшее, тоже немножко в этом грешно.

Такова проблема слова, проблема словосочетаний, об этом очень много можно говорить. Вы помните, конечно, слова Пушкина, который говорил, что слова все можно записать в лексикон, это дело не сложное. *<Пропуск в стенограмме.>* Пушкин написал, что ведь вообще новых мыслей мало, важна не новая мысль, а сопряжение мыслей, так же, как важно не слово отдельное, а сопряжение слов. А между тем о том, как высоко ценили язык, живой русский язык русские писатели — об этом книги написаны во множестве и много говорилось. Я напомним только слова Лермонтова из «Маскарада»: «Вы правы; как дикарь, свободе лишь послушный, / Не гнется, гордый наш язык, / Зато уж мы как гнемся добродушно».

Ну вот, у нас огромны традиции языковые, огромна почва национальная, на которой вырос богатейший язык. Не правда ли, Дмитрий Сергеевич, традиции эти богаты достаточны?

**Лихачев:** Да, я хотел бы в связи с этим напомнить слова Николая Николаевича Асеева из его замечательной книги «Зачем и кому нужна поэзия». Я прошу разрешения прочесть выдержку из этой книги.

Вот он спрашивает: «У кого мы учились? У кого учились, в частности, я? Прежде всего у пословиц и поговорок, у присловий и приказок, что бытуют в речи народной. Потом у книг, подобных «Мысли и языку» Потемкина, — великой книге о языке и его устройстве. Затем у летописей и старорусских сказаний, у «Жития протопопа Аввакума». Еще — у «Слова о полку Игореве», прельщающего своей силой языкового размаха. И все это перечисленное... помогло любить слово. А Кириша Данилов с его удивительными уроками языка, показом силы и необычайности воздействия слова!»

Вот почему Николай Николаевич Асеев, замечательный советский поэт, говорит прежде всего не о Маяковском, не о Некрасове, не о Гоголе, не о Пушкине, у которых он учился, а прежде всего начинается с этих старых сказаний, присловий, летописей, «Слова о полку Игореве».



Я думаю потому, что Асееву важна была в русском языке такая огромная его историческая дистанция. Он хотел черпать из исторических истоков, из глубины слова, потому что чем словеснее, тем оно прошло больше в истории, тем больше ассоциаций этого слова, тем оно более весомо. Именно это, очевидно, Асеев имел в виду, потому что дальше он говорит очень много отнюдь не только древнерусской стихии в русском слове. И действительно русскому языку больше тысячи лет, и русский язык так богат гибок, я думаю, потому, что русская жизнь была чрезвычайно богата. Русский язык развивался на огромной территории. В нем постоянно взаимодействовало много диалектов. Он сам создавался не только из своих собственных корней, смешался с древнеболгарским языком, потом испытывал влияния различные — и скандинавские и финские, и германские влияния, и потом влияния польского языка, и французского, и английского.

Византийское, греческое — очень велики были влияния в русском языке, и все это органически перерабатывалось. Именно этим богатством русской жизни, богатством культурных традиций обогащается богатство русского языка. И, я думаю, еще потому русский язык богат, что богата русская культура, потому что эстетическое достоинство русского языка не могли развиваться вне всей эстетической истории русского народа, вне литературы, вне живописи, вне замечательного, замечательного декоративного искусства. Я напомним, что, например, Игорь Грабарь считал, что искусство русского народа главным образом сказалось в зодчестве древнерусском. Об этом у него прямо написано.

Русский язык — язык культурного народа. И вот мне часто приходилось слышать о том, что русский народ, советский народ — в целом, — это самый читающий народ мира. Мы сейчас читаем в трамваях, в метро, в автобусе, в переполненном автобусе читаем антрактах, в театре, в филармонии. И что самое замечательное, что меня очень интересует: споры о русском языке, о том, как правильно сказать и как сказать неправильно, происходят не в университах, не в школе, а в очередях, в магазине.

**Солухин:** Вот сейчас, например, в такси. В такси сегодня угрожали. Таксер спросил у меня: «Как правильно: крайний или последний?» Мы ему сказали: «Последний». Это постоянные разговоры. Мы получаем тысячи писем от самых разных людей. Вот скажите, как надо говорить правильно, там, по телевидению.

(*Переговоры, неразборчиво.*)

**Лихачёв:** И этим объясняется колоссальный успех книг о правильности и чистоте русской речи, различных книг, которые сейчас выходят. Их раскупают моментально, мгновенно. Издательство вы-

пускает их очень много и огромным тиражом. И все-таки их раскупают, потому что, в общем, надо сказать, что советский, русский народ не только самый читающий народ, но, я думаю, что и народ, который очень бережет язык. Стремится беречь язык. Ведь вот для иностранца удивительно, что в Ленинграде... <Пропуск в стенограмме.>

**Успенский:** Надо научиться беречь.

**Реплика:** Хотя бы научиться беречь, стремиться к этому.

**Лихачёв:** Во Владивостоке и в Ленинграде говорят в общем на одном языке. И это удивляет немцев, допустим, они в каждом городе говорят как-то иначе, на таких своеобразных диалектах. Вот это удивляет, что на огромном пространстве язык в общем один и тот же. Правда, мы его недостаточно бережем. Иногда все-таки... <Пропуск в стенограмме.>

Вот какие-нибудь вывески. В Ленинграде появился на Большом проспекте, на Невском проспекте магазин с вывеской: «Продукты детского питания».

**Реплика:** Продукт — это есть результат чего-то, правда... даже как-то неудобно.

**Лихачёв:** Потом мы не бережем язык в наименованиях. У нас очень много переименовывается. Причем, я уже не говорю о том, что менять старые традиционные названия — это нехорошо, потому что мы как-то разрываем с традициями. Эти названия наших улиц, площадей, городов часто встречаются в литературных произведениях, и потом нужно гадать, о каком городе, о какой улице, о какой площади идет речь в этом литературном произведении, искать, какой-то устраивать перевод в путеводителе.

Но дело и в том, как мы переименовываем, просто иногда неграмотно, неудачно. Я бы хотел привести два примера. Так сказать, немножко забегаю вперед, но все-таки сказать о том, что переименования, такие как Петергоф и Петродворец, — это переименования плохие с точки зрения русского языка, потому что как вы назовете дворцы? Петродворецкие дворцы? Получается какая-то тавтология.

У нас теперь Петрокрепость. Вместо Шлиссельбурга. А как вы назовете жителей Петрокрепости — петрокрепостники?

Продукция завода петрокрепостная, как говорят — ленинградская продукция, а там петрокрепостная. Ведь слово «крепостное» имеет двойное значение. Это не только крепость — фортификация, но с этим связано, может быть, крепостное право. Так что это неудачно и с этой точки зрения. С точки зрения сбережения нашего языка. Но если все-таки мы можем сказать о том, что народ наш бережет в общем свой язык, любит свой язык, думает о правильно-сти форм русского языка, то вот, что касается памятников культу-

ры, с которыми язык связан самым тесным образом, потому что культура русского языка связана с историей культуры русского народа теснейшим образом и одно от другого зависит, то здесь мы должны сказать, что вот самый читающий народ мира может быть назван одновременно и самым беззаботным народом в отношении своего прошлого. Мы этого не бережем, к несчастью. И то, что Борис Борисович сказал относительно того, что в Ярославле и во многих других местах, и в том числе у нас в Ленинграде, не берегут памятники русской истории, — это печальный факт, о котором нельзя не упомянуть, говоря о русском языке.

**Волков:** Да, но мне кажется, что вот вы затронули вопрос о языке к языку, и все. Конечно, она есть, но важно, мне кажется, тогда говорить и об основах языка, потому что язык, собственно, состоит из традиций. И он на протяжении многовековой своей истории подвергается, конечно, разносторонним влияниям, и некоторые из них прямо характер таких вторжений. Вот когда у него есть прочная основа в виде народной традиции. Былины, сказки, поговорки, то что мы называем фольклором, то, конечно, это помогает ему, развиваясь и воспринимая полезное, и идя в ногу с веком, одновременно отбываясь от чужеродного, от того, что не отвечает духу языка. Чтобы не углубляться далеко, вспомним давайте век жизни париков, когда, знаете ли, с легкой руки Петра, так сказать, целый поток хлынул на нас иноземных выражений; заимствованный язык официальный, светский, стал совершенно у нас пестреть чужими словами.

Вот я написал несколько слов из донесений Апраксина Елизавете. Это было в 1757 году. Так названа реляция к ее императорскому величеству от генерал-фельдмаршала и кавалера Степана Федоровича Апраксина, отправлено с места баталии, это при деревне Грос-Еггсдорф. (*Неразборчиво*.) Он, конечно, стремясь своей виной, так сказать, несколько в глазах Елизаветы преувеличить, пишет, что «неприятель вдруг со всей силой и с такой фуррией на наш фронт пошел». Потом он говорит, что, «сколько мне ни горячо и бесспорантно было его нападение», мы, мол, его, так сказать, отбили, и бегство его уже нельзя было назвать ретирадой, потому что ретирада — это упорядочение такое. И конечно, он кончает уже тем, что с «глубочайшим решепком и будет удостоен он высочайшим аплодизментами», и еще забавно, что он говорит: «Мои ордеры выполнены лишь очень хорошо».

Но можно привести и более курьезный пример. Достаточно сказать, что Ломоносов официально считался академиком десятилетия, академия наук была десятилетие. Ну вот, как раз когда этому десятилетию насаждаемому офранцузиванию, онемечиванию, тому, что

староверы называли обасурманиванием языка, противостояла народная традиция. Но одновременно было бы близоруко не вспомнить и значения, конечно, наряду с народным творчеством, нашей прочной христианской традиции, потому что одно то обстоятельство, что вот у нас богослужение велось на старославянском языке, понятном народу... Значит, как-то уху русского старые корни, старые славянские слова не оставались чуждыми, он был приобщен к ним, потому что слышал понятное. И вот это влияние церковной грамоты, оно сказывалось и на светских сочинениях очень поздно, даже, я думаю, можно в начале XIX века проследить. В замечательнейшем русском памятнике письменности, о котором Дмитрий Сергеевич упоминал, в «Житии протопопа Аввакума», особенно интересно прослеживаются блестящие народного языка, такие драгоценные камни прямо вправлены в прочную ткань прозы образованнейшего церковника XVII века. Я позволю себе прочесть несколько коротких строчек из «Аввакума» как раз потому, что вы знаете Аввакума. Ведь читали и перечитывали его Достоевский и Тургенев, и Толстой, Лесков, знали его и всегда черпали в нем что-то. Так вот он говорит о суетности человека, который не способен удовлетворяться тем, что у Христа того света наделано для человеков. И протопоп, значит, пишет про нас грешных, конечно: «Скачет, яко козел; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съестъ хошет, яко змия; ржет зря на чужую красоту, яко жребя; лукавует, яко бес; насыщаясь довольно; без правила спит; бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает и не вем, камо отходит: или во свет ли, или во тьму — день судный, коегождо явит».

Вот видите, в нескольких строках прямо весь нравственный кодекс, собственно, человека того времени передан, скупое, короткое.

**Лихачев:** И двумя стилями.

**Волков:** Да, да, двумя стилями тут все. И потом еще то, что я, ну, может быть, ошибочно, но считаю прямо вершинами образности художественного русского языка. Он рассказывает о своем возвращении из ссылки, из Сибири, и рассказывает о своем путешествии, исполненном тягот. И вот они бредут с женой по льду озера, знает, измученные, выбившиеся из сил: «Протопопица, бедная, бредет-бредет, да и повалится — сколько гораздо». То есть сколько очень. «Я пришел — на меня, бедная, пеняет, говоря: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самых смерти». Она же, вздохнула, отвечала: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

Вряд ли вы сыщете во всей русской литературе такой портрет русской женщины, данный, собственно, в нескольких только сло-



вах. Ну, конечно, в следующем столетии уже отучились, в XVIII веке писать так коротко, но влияние того, что люди учились на псалмыре, все совершенно сохранилось.

Так вот я и хочу сказать, что вот эта связь с церковно-славянским языком и народные традиции были теми столпами, которыми помогали русскому языку отбиться, так сказать, от нежелательных влияний.

А сейчас я считаю, что этих опор нет, не говоря о том, что мы начисто отрешены от церковно-славянского, но и от народных традиций. Вот фольклор, вряд ли он может считаться, что он на такой народной основе, потому что, скажем, песни Киреевский сейчас бы не пошел собирать в деревню, а ему пришлось бы просто пойти в Союз писателей и спросить адреса штатных песенников, которые эти, понимаете ли, песни отсюда туда даются. Потом, ну, в каких-то медвежьих углах, может быть, сохранились, но радио и газеты все это дают отсюда, от нас, из города, идут, так сказать, языковые навыки, словарь и все туда... И мне кажется, что наша задача, писателей, это как раз, так сказать, углубляться в классическое наследие, может быть, ознакомиться со словарем агнографической литературы, то есть вот с житиями святых, летописями, и там черпать старые, емкие, хорошие слова, обороты и приучать наших редакторов, кстати, чтобы они не шарахались от таких слов, которые часто собственно...

**Успенский:** Неужели шарахаются?..

**Волков:** Да, да, да.

**Иванов:** Мне хочется сказать, что вот в наш век, век машинной техники, может быть, особенно ясно, что редактор — это тот человек в области слова, которого легче всего заменить машиной. Творчество словесное машиной не скоро еще заменят, а быть может, и никогда. Это можно просто доказать сейчас. А вот стандартные формы речи машина может создавать, и в некоторых областях это заведомо лучше, там, где это касается научной, технической литературы, она живая каких-то особых областей языка. А вот в художественном творчестве это и не нужно, и вредно. И по-моему, в наш век сравнение человека с машиной, человека с техникой много дает для того, чтобы понять, что же остается на долю человека.

Я приведу пример, связанный с изобразительным искусством. Мне думается, что многие новейшие течения в изобразительном искусстве, которыми отчасти объясняется и всемирный интерес к русским иконам, связаны с тем, что в XX веке есть фотографии кино, телевидение, поэтому нет нужды человеку-художнику приносить собственную действительность, как ее увидит объектив, а нужно вносить собственно человеческое.

Также в век, когда машина может на свой лад отшлифовывать язык, на долю человека остается как раз не стандартизация языка, не внедрение штампов, а, напротив, раскрепощение речи, внесение в нее всего живого, что есть и в старой нашей литературе, и в разговорном языке на улице.

И мне хотелось сказать о том, что, по-моему, свойственно большинству наших самых крупных писателей и в XIX, и в XX веке, — как в литературный язык входят слова живого обихода. У нас большой писатель очень часто сам перевоплощается в своих героев, в простых людей, в людей из народа. Это такая сказовая речь, которая повелась у нас, может быть, еще с «Повестей Белкина» и с «Истории села Горюхина» Пушкина и лучше всего проявилась у Гоголя.

Иной раз, когда я перечитываю повесть о капитане Копейкине, и в ней слышу уже и предчувствие сказа у больших писателей XX века, у того же Зощенко, скажем.

Я позволю себе привести хотя бы несколько строк из повести о капитане Копейкине, просто, чтобы стало яснее, что разумеется обычно под сказом. Это из описания Петербурга. «Вдруг какой-нибудь эдакий, можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми, или там эдакая какая-нибудь Литейная, там шпиц эдакий какой-нибудь в воздухе: мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого то есть прикосновения, — словом, Семирамида, судырь, да и полно! Понатолкался было нанять квартиру, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, коверы — Персия, судырь мой, такая... словом, относительно, так сказать, ногой попираешь капиталы».

*Реплика:* Хорошо.

**Иванов:** Здесь все время обращение к читателю. Даже в самих формах языка. Все время собеседование с читателем. И между прочим, это-то сначала и не понимали. Достоевский в письме к брату по поводу «Бедных людей» писал о критиках, читающей публике: «Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя, я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может».

Вот в этом-то и особенность сказа у больших русских писателей, что говорят не только они сами, а через них говорят разные люди, и отсюда вот у того же Достоевского эта многоголосость, о которой замечательно пишет Бахтин в своей великолепной книге о Достоевском. У больших русских писателей мы слышим сразу слово многих людей. Отсюда русская литература действительно соборная литература, литература, где через большого писателя говорит весь народ, и, между прочим, в XX веке именно этому у русской литературы

учились и многие писатели на Западе. Мы слышим все время отклики вот этих черт Достоевского. И в XX веке у многих наших современников писателей начала века, первых десятилетий, как у Андрея Белого, Ремизова, Замiatина, мы слышим...

**Бушин:** Хлебников... человек был просто страшно влюблен в язык, из него сделали формалиста. Какой он формалист? Он просто обожал русскую речь, язык, он, как Даль, ее любил, правда?

**Иванов:** Да, конечно. Мы многого еще недооценили в нашем наследии 20-х годов. Я уже упоминал Зощенку, я думаю, что в его рассказах, может быть, больше, чем у кого бы то ни было, оказалась именно эта стихия живой городской речи. *(Переговоры.)*

Мы еще многого не знаем и плохо знаем из того, что было в последующие годы, скажем, у Андрея Платонова, у Булгакова, в прозе. У нас часть прозы 30-х и 40-х годов находится еще в запасах, как говорят в музеях, и постепенно только начинается это обнародоваться, и мы уже видим, как много было у Андрея Платонова такого.

И наконец, мне хочется сказать о Солженицыне. Мне кажется, что это изумительное явление в нашей новой литературе замечательно и воскрешением, причем, по-новому, вот этой сказовой традиции. У Солженицына и в «Матренином дворе», и в «Одном дне Ивана Денисовича» мы слышим этот живой голос современных людей и осмысление всего исторического опыта, просветление духовностью, свойственной русской литературе. Оно сказалось в самом словаре, в говоре, в построении фразы, в отсутствии этой скованности и стандартности.

Вот таковы все большие русские писатели. Поэтому русская литература велика и тем, что она непрерывно связывает русскую речь, которая живет в повседневном обиходе, и язык письменный русской литературы. Такова и русская поэзия. Мандельштам в своих статьях о поэзии писал, что все большие русские поэты способствовали обмирщению языка, язык становился все ближе к обычному разговорной речи. И это действительно так. Так что я думаю, что одна из самых больших заслуг русской литературы перед Россией состоит в постоянном внимании к живому русскому слову.

**Реплика:** Да, это живое русское слово, понимаете, волнение приносит, правда?

**Солоухин:** Конечно, писателю труднее всего говорить о своем языке, писателем, как у певца трудно спрашивать, в чем у него голос, в той или иной окраске. Ведь одно слово, конечно, еще не язык. 70 тысяч слов — это уже язык, если они подчиняются определенным драматическим сводам и законам. Но это еще не язык писателя. 70 тысяч слов словаря. Из одного и того же источника, из

одного и того же, так сказать, резерва словарного один писатель будет черпать и будет писать цветисто, витиевато. Другой будет писать строго и холодно. Третий будет писать сочно, четвертый — сухо, пятый просто безобразно будет писать.

**Успенский:** И 12 тысяч слов хватит.

**Солоухин:** И 12 тысяч слов хватит для того, чтобы создать полную палитру, так сказать, полную палитру. Вы знаете, я задумался над таким вопросом: почему один и тот же человек иногда вдруг произносит яркую речь, не обязательно с трибуны, допустим в застолье или вообще перед друзьями, за чашкой чая, яркую взволнованную речь, какие-то точные слова у него находятся. И вдруг он же в другом состоянии, или утешенный, или рассеянный, он говорит как-то сухо, казенно очень, штампами. В чем дело? — я задумывался.

Мне кажется, что здесь дело сводится вот к чему: здесь вопрос равнодушия или неравнодушия. Ремесленническое, так сказать, произведение, подделка литературная — она не может быть написана сочным, ярким, красивым языком. Более того... тогда не будет подделки. Более того, я из своего опыта... мне иногда приходилось, я, так сказать, по молодости лет брался иногда за темы, которые мне чужды по духу, по всему, не свойственны, допустим, ну, там заказы. Понимаете, хочется написать, выполнить заказ, и куда-то деваются слова. Садись за страницу — нет слов, нет ни одного слова, ничего. Выдавливаешь из себя, из ничего. Так что вот этот вопрос, мне кажется, первоочередной важности. И вот, Борис Борович, вы очень правильно говорили, сравнивая Дала с Ушаковым. Мне кажется, это тоже прежде всего вопрос любви, равнодушия и неравнодушия — это вот сопоставление двух словарей.

**Успенский:** Это вообще сложное соотношение между двумя словарями.

**Солоухин:** Но все-таки. Все-таки это видно...

**Успенский:** Да.

**Солоухин:** Равнодушному не прикажешь, так сказать. Человек может быть взволнованным, вдохновенным или равнодушным и мертвым. И тут помочь ничем нельзя. Но все-таки о чем можно сказать еще? О том, что мы вынуждены через себя пропускать ежедневно огромное количество информации, которая приходит к нам из газет, из радио, из журналов, из книг. И очень много, очень много такого газетного, информационного западает в наше сознание, западает настолько, что потом писатель как бы свое уже, понимаете ли, на страницу это выносит. И получается штамп. Ну, значит, «еще шире и глубже», «претворим в жизнь», понимаем, «развязать инициативу масс» — все такие штампованные. Они



уже ороговевшие, уже капилляры не приносят им теплую кровь. Уже роговина, понимаете. А мы эти ороговевшие, значит, тараканьи лапки, такие модели очень часто, знаете ли, как свое выносите на страничку.

Обогащение языка за счет чего может идти? Не только за счет приобретения новых слов, из летописи, из древних источников. У металлургов есть такой термин: флотация — обогащение руды путем флотации. Говорят: было в руде три процента полезного, а теперь флотация, основная породы, осталось сорок. Это не значит, что добавили туда, а значит, что оттуда убрали пустую породу. И вот кажется, нам, писателям, нужно думать об обогащении своего языка именно методом флотации, чтобы убирать из своего сознания из своего лексикона эту вот пустую породу.

Теперь мне хотелось бы еще затронуть два частных вопроса, два частных случая, связанных с нашим языком. За несколько десятилетий наш язык чудовищно засорился всевозможными уродливыми нелепыми сокращениями... (*неразборчиво*) чуждыми совершенно духу нашего русского языка.

Конечно, человек ко всему привыкает. И мы ко многому привыкли и считаем, что так и надо. Но все-таки, все-таки бываю привычки дурные и бывают привычки хорошие. От дурных труднее отвыкнуть, еще говорят.

Вот, например, как лучше сказать: ГАБТ или Большой театр? Я считаю, что Большой театр все-таки лучше. В Ленинграде считали такое понятие ГАТОБ, театр оперы и балета... ГАТОБ, понимаете, какая вещь. Поэтому у нас пока это не привилось и Большой театр ГАБТом никто не называет в быту.

Но МХАТ мы говорим. Мы говорим МХАТ — какое-то уродливое словосочетание, вместо того, чтобы сказать просто: Художественный театр. Больше того. Выпущен словарь два года тому назад с сокращениями — 12 с половиной тысяч сокращений, которыми бы узаконивали все это дело. Уже, так сказать, словарь — все, мол, но пользоваться.

Ну, я могу вам сказать, немножко повеселить, я этот словарь читал, там такие сокровища, что просто... Что такое ВХУТЕИН? Может быть, вещество, теин, чай, ничего подобного, ВХУТЕИН — Высший государственный художественно-технический институт. Помните, у Пастернака есть такие строчки: «ВХУТЕМАС — школа ваяния».

Вот вам сопоставление двух эпох. В одной называют школа ваяния, а в другой ВХУТЕМАС. Я уже не говорю о таких вещах, как ВЦНЛРК, это я уже ни расшифровать, ни произнести не берусь. Но что хуже, очень часто эти словообразования на что-то похожи.

Например, ДОБИ. Вы, наверное, думаете, что это собачья кличка или еще что-нибудь. Нет, это Детский исследовательский институт всего-навсего. Или ГАМ, ну, не птичий ГАМ, это не тот, оказывается, ГАМ и шум. Это Государственный антирелигиозный музей, ГАМ.

Есть ДНО... Дивизия народного ополчения, есть КУР — не тот кур, который в ошип попал, а который комендант укрепрайона. Есть КОШАКО. Оказывается, копатель шахтных колодезь. ПЕТРИН, Петрин — это уже вообще какая-то фармацевтика, так сказать. Оказывается, Петрографический институт Академии наук. Ну, и так далее.

Вот все это, КВРД и так далее. И потом эти всякие ГАФ, ГАУ, КАФ, ГАМС, так сказать, какое-то лаяние получается, понимаете, лаяние.

*Реплика:* Писатели и журналисты, они тоже свой дом называют ЦДЖ.

*Реплика:* Ужасно. ЦДЛ... грубо, это грубо. А нет, чтобы сказать — Писательский клуб, клуб писателей. ЦДЛ.

*Реплика:* А разве в Ленинграде так не говорят?

*Реплика:* Говорят...

*Реплика:* Ну, в такой степени...

*Солоухин:* Многие из того, что я, конечно, перечислял, мы в быту не употребляем, в повседневной разговорной речи, вот даже ГАБТ, но мы говорим ГВФ, привыкли, говорим МХАТ, говорим ВЦСПС, говорим ВДНХ, там РСФСР, ведь дело дошло до того, что однажды Качалов Василий Иванович покойный, когда увидел слово «Вход», в таком длинном коридоре, то он расшифровал, стал расшифровывать, и так уж: Высшее художественное объединение. Он, конечно, его быстренько расшифровал. Обыкновенное русское слово «Вход».

Я думаю, что нам нужно... каждый из нас пусть в душе объявит беспощадную борьбу за чистоту русского языка, за искоренение из своего лексикона всяких уродливых сорняков, просто уродливых сорняков.

Еще один, частный тоже вопрос, но, как мы выяснили, все вопросы общие в языке, я по этому поводу уже выступал в газете, и даже дважды — в еженедельнике, в «Неделе». Вы знаете, я однажды задумался, что у нас из языка ушло интимное обращение друг к другу. У нас есть прекрасное слово «товарищ», такое официальное, партийное слово. Естественно, когда я выхожу на трибуну или обращаюсь к большому количеству людей, я говорю: «Товарищи». Вот даже вам: «Товарищи телезрители». Это естественно. Естественно, когда меня остановит милиционер и скажет: «Гражданин, ваши документы. Вы нарушаете правила, переходите улицу не там, где